

18+

Наталья Червяковская

Карпы Кои: Искусство жить без компромиссов

Современная проза и поэзия

Наталья Червяковская

**Карпы Кoi: Искусство
жить без компромиссов.
Современная проза и поэзия**

«Издательские решения»

Червяковская Н.

Карпы Кoi: Искусство жить без компромиссов. Современная проза и поэзия / Н. Червяковская — «Издательские решения»,

Книга «Карпы Кoi: искусство жить без компромиссов» это и есть тот самый глубокий компромисс между двумя любящими сердцами, что идут рука об руку долгие годы, повидав многое на своём пути. Она — как карп кoi, плывущий против течения: упрямо, преодолевая водовороты, чтобы, коснувшись небес, превратиться в дракона. А он — тот, кто всё понимает, безоговорочно любит и мудро не мешает, давая любимому человеку достичь своей цели. Это мысли вслух, сплетённые из прозы, поэзии и тишины хокку.

© Червяковская Н.

© Издательские решения

Содержание

Легенда о карпе, что стал драконом	6
Осознанное одиночество	12
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Карпы Кои: Искусство жить без компромиссов Современная проза и поэзия

Наталья Червяковская

© Наталья Червяковская, 2026

ISBN 978-5-0070-6065-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Легенда о карпе, что стал драконом

В туманной дымке чайного покоя,
Где вишня осыпает лепестки,
Расскажет гейша сказ свой про живое,
Про силу волн и тишину реки.
Она коснётся веером лазури,
Где в тёмной глубине, среди камней,
Кои плывут сквозь мнимые лазури,
Рождая искры в пламени теней.

«Взгляни, — шепнёт она, — как злато дышит,
Вскипая в чешуе живым огнём.
Их каждый жест Вселенная услышит,
В их танце — солнце ясным, светлым днём.
Жить ярко — это дар и искупленье,
Богатство не в шелках и не в казне,
А в том, чтоб верить в каждое мгновенье,
Храня достоинство в безмолвном сне.

Они скользят по лезвию мечтаний,
Где явь и грёза сотканы в одно,
Вне мелких распрей и земных терзаний,
Спускаясь на таинственное дно.
Их истинная роскошь — в вольной доле,
В умении довериться судьбе,
Не изменяя сердцу и глаголу,
В извечной и невидимой борьбе.

В стоячей глади — океан страстей,
В спокойном взмахе — яростная сила.
Нет в жизни благороднее вестей,
Чем те, что красота в себе взрастила.
Пусть говорят, что воды эти немые —
В молчанье слышен зов иных миров.
Кои — живые, гордые поэмы,
Освобождённые от всех оков.

Учись сиять, не ведая сомнений,
Свой путь черти чешуйчатым пером.
Шедевр рождается из тех мгновений,
Где дух горит осознанным костром.
Будь уникальна в помысле и в жесте,

Как этот карп, что плавит хладный лёд,
Ведь только в честности и в Высшем месте
Нас настоящая свобода ждёт».

Умолкнет голос, шёлк кимоно стихнет,
Лишь веер скроет тайну горьких губ.
А под водой узор внезапно вспыхнет,
Как золото среди столетних дуб.
Там, в глубине магических чернил,
Верша круговорот великих вод,
Плывёт Кoi — источник тайных сил,
Венчая жизни вечный небосвод.

Есть рыбы, о которых вспоминают лишь на кухне, под шипением масла и звоном ножей. А есть те, чьё имя вплетается в ткань культуры, пульсирует в ритуалах и направляет судьбы поколений. Карп кoi — из вторых. Он давно перестал быть просто тенью, скользящей в глубине пруда. В Японии его воспринимают как живую притчу, застывший символ: в чешуе его отражается не вода, а сама суть силы духа, внутренняя дисциплина и та тихая, но несгибаемая воля, что способна превратить течение жизни в восхождение.

Проплывает в пруду —
чешуя дышит светом,
и сила тишины
гласит, как древний хокку.

Хокку — древняя японская поэтическая миниатюра, где три строки дышат в ритме семнадцати слогов (5-7-5). Она рождается из мгновенного трепета перед природой или миготом бытия, вбирая в себя тишину, недосказанность и сгусток вечности, застывший в одной точке. Здесь, в этом контексте, хокку становится голосом мудрости, что струится сквозь безмолвие пруда, где чешуя, отражаясь, дышит светом. Это поэтический отпечаток: слов почти нет, но тишина — бездонна.

Давным-давно, когда боги ещё ступали по земле, а реки шептали на языке ветра, в горах Китая родилась легенда. Она перетекла в Японию, словно живая вода, пустила корни глубже любого храма — и проросла сквозь толщу веков, не увядая.

Высоко в горах, где воздух редел от величия, бесноватая река обрывалась водопадом исполинской, сокрушительной мощи. Люди нарекли его Вратами Дракона. В бездну низвергались тонны кипящей воды, и грохот стоял такой, словно сама каменная плоть скал вступала в яростный диалог с небесами. Искони повелось: любая рыба, что осмелится взлететь наперекор этому потоку, сразиться с ревущей стихией и прорваться ввысь, перестанет быть просто рыбой — обернётся драконом. Станет существом иной, высшей породы, немеркнувшим стражем небесной силы.

Много рыб пыталось. Их были тысячи — но почти все сдавались. Течение швыряло их назад, в ледяную бездну; камни, как когти, впивались в тела; вода выматывала душу до последней искры. Карпы же возвращались вновь и вновь. День, другой, месяц. С каждым ударом они не слабели — они учились двигаться иначе, становясь невидимыми для боли, покорными лишь собственной воле.

В природе большинство рыб не спорят с течением — вода правит, они покорно плывут по её воле. Но карп — совсем иной породы. Он способен вздыматься наперекор потоку, одолевая те пороги, где любая другая рыба давно отступила бы. В этом упорстве японцы узрели не просто биологическую черту, а живой образ человека, не страшась тернистого пути.

Легенда гласит: однажды золотой карп в последний раз ударил грудью в пенящуюся стену потока, разорвал её серебряной вспышкой чешуи и вылетел в верхнее небесное зеркало бассейна. И в тот же миг откликнулась сама бесконечность — вода закипела, вспыхнула ослепительным светом, и карп, изогнувшись, обратился в дракона, взмывающего в облака, чтобы навеки стать дыханием бури и грозой туч.

С тех пор минули тысячелетия, но образ карпа, пробивающего водопад, навеки впитался в кровь восточной культуры. В каждой японской деревне, где есть пруд, вы увидите кои — живые напоминания о том, что стойкость не требует награды: она сама есть награда. Когда в средневековой Японии мальчик достигал совершеннолетия, над домом взмывал флаг с изображением карпа — знак, что юноша готов нести бремя мужчины, что он способен плыть против течения жизни, даже когда вода несёт вниз. В этом не было торжественности — была суровая, горячая честность. Родители не желали сыну лёгкой доли; они желали ему силы не сломаться.

Когда я смотрю на современный город, на его стеклянные башни и бесконечные очереди поездов, я вижу: легенда не умерла. Она просто сменила одежды. Сегодня карп — это молодой инженер, который встаёт в пять утра, чтобы два часа добираться до офиса, зная, что повышение придёт лишь через три года упорного труда. Или женщина, открывающая своё дело в сорок лет, когда все вокруг твердят, что поздно. Или студент, сдающий экзамены в университет, где конкурс — сотня на место. Они не думают о драконах — они просто плывут. Но именно в этом и кроется суть превращения.

Я бы солгала, сказав, что любое усилие ведёт к чуду. В легенде — да, каждый преодолевший становится драконом. В жизни — нет. Тысячи карпов разбиваются о скалы, их уносит вниз, и никто не вспоминает их имён. Но разве это лишает смысла их попытку? Река не спрашивает рыбу, хочет ли та плыть против течения. Жизнь не спрашивает человека, готов ли он к трудностям. Вопрос в другом: если ты не попробуешь — ты уже остался внизу, в тёплом, безопасном омуте, где вода пахнет тиной и застоем.

В Японии говорят: «Кои с рисового поля никогда не станет драконом». В этой поговорке — приговор тем, кто выбрал покой. Рисовое поле — тесный мирок, где корма вдоволь, врагов почти нет, а время застыло намертво. Карп здесь растёт упитанным и красивым, но ему никогда не узнать, что таят небеса за гребнем водопада. Легенда не осуждает того, кто ищет безопасности. Она просто констатирует: не рискуя, ты навсегда останешься рыбой. Никакой мистики — лишь обнажённая механика души.

Вглядываясь в эту древнюю притчу, я понимаю: дракон — это не крылья, не пламя и не бессмертие. Дракон — это мгновение, когда ты перестал бояться воды, камней и высоты. Когда твоя воля становится твёрже скалы, что била тебя, — и высекает из неё искру. Когда ты наконец взмываешь в неизвестность не ради награды, а потому что внутри тебя не осталось ничего, кроме неукротимого движения вверх. В этот миг само небо узнаёт тебя. И даже если ты не достигнешь облаков — ты уже не рыба. Ты — тот, кто встал против течения мира и не был смыт.

С тех пор история о карпе, преодолевшем Врата Дракона, стала не просто легендой, а притчей о человеческой судьбе. В ней нет ни слова об удаче, ни тени случайного торжества. Это повесть о долгом пути, где никто не видит, сколько раз ты разбивался о камни, — но все замирают в тот миг, когда ты, иссечённый и неутомимый, взмываешь выше всех.

В старые времена, когда наступал пятый день пятой луны, японцы поднимали глаза к небу и видели странное зрелище: над домами на высоких мачтах «плыли» рыбы. Это были кои-нобори — тканевые карпы, развевающиеся на ветру, словно действительно плывущие в потоке воздуха.

Так Япония отмечала День детей. Для каждого ребёнка в семье поднимали своего карпа. Большой чёрный символизировал отца, красный — мать, более мелкие — сыновей и дочерей. Ветер наполнял ткань, и казалось, что семья рыб идёт против невидимого течения неба.

Это не просто украшение. Это пожелание, переданное сквозь века: «Пусть у тебя хватит силы идти вперёд, когда другим захочется сдаться. Пусть мир будет сложным, но ты не растворишься в его потоке».

Рассказывают, что один старый мастер, глядя на выцветшего карпа, который год за годом висел над его домом, промолвил: «Упорство — не про идеальность формы, а про верность направлению. Ткань выгорает, но рыба продолжает плыть».

Цвет карпа — не случайность, а код, читаемый на уровне интуиции. Красный и белый — «кохаку» — самый древний и уважаемый союз. Белый — чистота намерений, красный — энергия и страсть дела. Золотой карп — «огон» — напоминает о процветании, но не как о накоплении, а как о способности делиться. Чёрный карп с белыми пятнами — «сюсуй» — это вызов: он не прячется в тени, а несёт свет сквозь самую тёмную воду.

Говорят, что в дзен-буддийских монастырях монахи часами сидели у пруда с кои. Никаких слов, никаких лекций. Только движение воды и спокойные траектории ярких тел. Для стороннего наблюдателя — просто красивая сцена. Для человека, живущего в перегруженном мире решений и обязательств, — почти терапия.

Карп не спешит. Он не мечется от одного края пруда к другому. Его путь — медленный, выверенный, но у него есть цель. Это созвучно древней японской идее «кайдзэн» — постоянного небольшого улучшения. Не революция, а эволюция, не взрыв, а ежедневная работа.

Способность кои жить десятилетиями — ещё один скрытый урок. Карп кои в хороших условиях доживает до семидесяти лет, а некоторые особи перешагивают и через вековой рубеж. За это время вода в пруду сменится тысячи раз, деревья вокруг вырастут и состарятся, а рыба всё так же будет двигаться своим медленным, ровным ходом. Для владельца сада такой питомец становится живым свидетелем его собственных решений.

В древних свитках записано: «Если карп старше вас, а вы всё ещё смотрите на него из того же сада, значит, вы не изменили тому, во что верили в молодости».

Есть в этой легенде и тема, которая редко выносится на поверхность, — одиночество пути. Карпы в природе держатся стаями, но тот, кто преодолевает Ворота Дракона, неизбежно делает это один. Сотни и тысячи других остаются внизу, смотрят вверх и ждут, сдастся ли он.

В этом — суровая правда для тех, кто берёт на себя большую ответственность. Вы не можете взять с собою всех, кто начинал с вами. Кто-то не выдержит темпа, кто-то выберет другую реку, кто-то останется сторожить старый пруд. Но именно способность сохранить в себе цельность и не обернуться назад, когда позади остаются привычные голоса, делает человека драконом. Культура карпа учит, что одиночество на высоте — не наказание, а признак того, что вы действительно поднялись туда, куда не подняться в толпе.

И по сей день, когда мир ускорился до предела, а успех измеряется количеством лайков и нулями на счетах, карп кои остаётся тихим, но настойчивым напоминанием о другом порядке вещей. Он не быстрый, но упрямый. Не громкий, но заметный. Не дешёвый в содержании, но не требующий ничего, кроме внимания и правильной среды.

Вглядываясь в его спокойное скольжение сквозь толщу воды, вы невольно задумываетесь: а не является ли самым ценным в вашем пути то, что вы не сворачиваете с него, даже когда никто не видит?

В конце концов, карп не знает, что он когда-нибудь станет драконом. Он просто плывёт.

Карп не знает цели —
Только взлёт сквозь грохот вод,
Небо в чешуе.

Я люблю длинные рассуждения — во всём и обо всём, обожаю детали, их хрупкую точность, но при этом я люблю и хокку. Как такое возможно? На первый взгляд, это противоречие: одно требует простора, развёрнутости, почти бесконечного терпения к извилам мысли, другое — мгновенного сжатия, почти аскетической скупости. Но именно в этом парадоксе я нахожу истинную полноту восприятия.

Длинные рассуждения — это как путешествие по лабиринту, где каждый поворот открывает новый коридор, новую стену с почти невидимыми трещинами. Я люблю в них не столько конечную истину, сколько сам процесс: как мысль цепляется за одну деталь, потом за другую, как она наращивает плоть из примеров, оговорок, сопоставлений. Детали — вот что меня завораживает. В них есть хрупкая точность: точность часового механизма, где каждая шестерёнка ничтожна, но без неё всё рушится. Когда я пишу длинный текст, я словно распутываю клубок нитей, каждая из которых — отдельная история, отдельное наблюдение. Мне нравится останавливаться на одном мгновении, на одном жесте, на одном взгляде и разматывать его на страницы, находить в нём слои смысла, которые обычно ускользают. Деталь — это портал в бесконечность, если ты готов идти за ней.

Но есть и другая сторона этой любви — любовь к предельному сжатию. Хокку — это не просто короткое стихотворение, это выдох, в котором умещается целая вселенная. Три строки, семнадцать слогов — и в них может быть больше, чем в ином романе. Как это работает? Когда я читаю хорошее хокку, я чувствую, как время останавливается. Слово «старый пруд» — и передо мной не просто водоём, а тысяча лет тишины, отражений, падающих листьев. «Лягушка прыгает» — и это движение разрывает покой, но ровно настолько, чтобы звон воды стал веч-

ным. В хокку нет места лишнему: каждый звук, каждый слог работает на пределе. Оно не объясняет, оно показывает — и в этом его сила.

Как же совместить страсть к развёрнутости и к сжатию? Я поняла, что это не противоположности, а две стороны одного стремления — стремления к сути. Длинное рассуждение — это способ медленно, шаг за шагом, приближаться к сути, снимая слои, как с луковицы. Хокку — это мгновенное проникновение в суть, удар молнии, который освещает всё сразу. И то и другое требует внимания: в первом случае — к логике, к связям, к оттенкам; во втором — к тишине, к паузам, к тому, что не сказано.

Возможно, моя любовь к деталям — это любовь к микроскопу, а любовь к хокку — к телескопу. И то и другое — инструменты для того, чтобы видеть глубже, чем видит обычный взгляд. В длинном тексте я наслаждаюсь архитектурой мысли, её каркасом, её лепниной. В хокку я наслаждаюсь пустотой между словами, которая и есть главное содержание. Там, где рассуждение строит, хокку разрушает форму, чтобы явить чистый образ.

Однажды я пыталась написать длинное эссе о том, как работает восприятие времени в поэзии. Я потратила несколько дней, собирая цитаты, анализируя ритмы, сопоставляя эпохи. Текст получился объёмным, полным ссылок и оговорок. А потом, уже после завершения, я записала одно хокку:

Время течёт сквозь пальцы,
В луже — отражение облака,
Миг не вернуть.

И это хокку вместило всё, что я пыталась сказать в своём эссе. Но я не считаю, что эссе было лишним. Оно было подготовкой, тренировкой зрения. Без длинных рассуждений я бы не научилась видеть, что именно должно войти в эти три строки. Точно так же, как тишина имеет смысл только после звука, хокку обретает глубину только на фоне развёрнутых текстов.

Я люблю длинные рассуждения за их честность: они показывают, как мысль ищет, сомневается, возвращается назад. Они не притворяются, что истина даётся легко. А хокку я люблю за его дерзость: оно говорит, что истина есть и она — в одном взгляде на каплю росы. И то и другое — правда, только на разных уровнях.

Может быть, секрет в том, что я не выбираю между ними. Я просто живу в режиме переключения: то я медленно иду по лесу, рассматривая каждый лист, каждую ветку, то я замираю и вижу лес целиком — как одно пятно зелени на горизонте. И оба этих взгляда необходимы. Без деталей мир становится плоским, без целого — теряет смысл. Длинное рассуждение и хокку — это два способа быть внимательной. Один — вслух, другой — про себя. Один — как река, другой — как капля. Оба — вода.

Осознанное одиночество

*Осознанное одиночество —
Тишина в ладонях,
Слышу, как звенит луна.*

Не крест несу, не дань молве пустой,
Не горький жребий, брошенный в удел,
А тихий шаг над утренней росой,
Где каждый вздох — мой собственный предел.

В моих ладонях чаша тишины,
В ней звон луны на струнах ветровых.
Мне шумные пиры не суждены —
Я слушаю беседу трав степных.

Без суеты, где зреет глубина,
Где мысль ясна, как родниковая вода.
Я женщина — красива и умна,
Но что мне стая, если я — звезда?

В ночной тиши, вдали от мелких драм,
Мне предков память служит маяком.
Я не пустую — я строю свой прекрасный храм,
Где каждый угол освещён Богами.

Мой путь не в такт чужому баловству,
Не в суете, где гаснет тихий свет.
Я по росе, как по святому рву,
Иду туда, где страха больше нет.

В моей груди не пепел, а алтарь,
Где дышит ладан древней правоты.
Я не свеча на ветреном пиру —
Я пламя, что не просит теплоты.

Звезда не ищет зеркала в толпе,
Ей не нужна чужая похвала.
Я просто есмь в рассвете и во сне,
Я просто та, кто вечность позвала.

Почему человек приходит к осознанному одиночеству? Ответ мне на этот вопрос, что задаю себе я сама. Ну, ладно, женщина, которой минуло пять десятков — вот-вот исполнится пятьдесят один. Я знаю один, точнее два ответа, отчего же — ну же, отвечай. Даю тебе два слова: родные люди и компромисс.

В пятьдесят один год женщина, оглядываясь назад, видит не просто череду событий, а сложную мозаику выборов. И один из самых тяжёлых выборов — решение остаться одной. Ты дала мне два слова: «родные люди» и «компромисс». Они воистину ключевые, но за ними стоит целая жизнь.

Родные люди — это те, кто, по замыслу, должен быть опорой. С молодых ногтей нас учат, что семья — это тыл, место, где тебя примут любой. Но явь часто оказывается горше. К пятидесяти годам женщина копит огромный воз опыта общения с самыми близкими: с матерью, что так и не научилась слышать, с отцом, что был вечно в заботах, с мужем, что делил жизнь на «твой» и «мой» заботы, с детьми, что выросли и ушли в свой мир. Родные люди, увы, не всегда суть источник понимания. Часто они — источник самых глубоких ран, ибо бывают именно по тем местам, которые знают лучше всего. Женщина учится видеть, что за словом «родство» порой стоит пустота, чинность или даже откровенное потребительство. Её перестают воспринимать как личность — её воспринимают как службу: мать, жена, сестра, хозяйка. И когда служба перестаёт быть нужной в прежней мере — дети выросли, муж ушёл к более молодой или просто в свои попечения, — она остаётся с чувством, что её «выключили». Это страшное чувство ненужности тем, для кого ты столько лет пыталась быть нужной.

А второй кит — компромисс. Всю жизнь женщине внушают, что умение идти на уступки — добродетель. «Семья — это труд», «Надо уметь прощать», «Мудрая жена сглаживает углы». Она и сглаживает, и углы превращает в круг, пока не замечает, что сама стала тоньше и прозрачнее. Каждый компромисс — это малый шаг отречения от себя. Сперва ты уступаешь в том, куда ехать на отдых. Потом — в том, как растить детей. Потом — в том, с кем дружить. Потом — в том, что ты чувствуешь. «Не гневайся, не будь истеричкой», «Подумай о других». К пятидесяти годам этот перечень компромиссов становится длиною в жизнь. Женщина смотрит на себя в зеркало и не узнаёт — где та девушка, что хотела писать картины или танцевать танго? Её заменил набор уступок, удобных для окружения. И в какой-то миг внутренние весы опрокидываются: сбережение мира ценою своего «я» становится слишком дорогой платой.

Осознанное одиночество в этом возрасте — это не бегство от людей, а возвращение к себе. Это как после долгих лет жизни в шумном, прокуренном доме вдруг выйти на свежий воздух. Да, сперва зябко и пустынно. Но потом ты чувствуешь запах травы, слышишь пение птиц и понимаешь, как ты устала от гама. Женщина перестаёт ждать одобрения от тех, кто никогда не сможет её понять. Она перестаёт подстраиваться под лады, что ей чужды. Она вдруг находит, что тишина в доме — это не пустота, а воля. Она может заниматься тем, чем хочет: читать до утра, поехать в паломничество, начать учить китайский или просто лежать на диване, не отчитываясь ни перед кем.

Ты спросишь, а как же любовь? Она никуда не делась. Просто она перестаёт быть мучительным служением. Женщина учится любить себя — ту, что так долго была в тени. И отношения к другим людям тоже меняются. Если приходит мужчина, он теперь проходит жёсткую проверку: не на готовность угождать, а на способность быть рядом, уважая её границы. Если приходят дети, она встречает их не как должница, а как равная, вольная женщина, которая избрала быть в их жизни, а не обязана.

Осознанное одиночество — это высшая степень зрелости. Это отказ быть жертвой обстоятельств. Это когда ты говоришь: «Я больше не буду перекраивать себя, чтобы вписаться в чужую оправу. Я буду той, кто я есть. Если этого для кого-то много — их выбор. Мой выбор — быть собой». И за этим стоит огромная внутренняя работа, разочарования, слёзы и, наконец, приятие.

Два слова, что ты дала, — это два полюса. Родные люди часто становятся причиной боли, а компромисс — способом эту боль заглушать. Но однажды женщина понимает, что самая верная родня — это она сама. И самый правильный компромисс — это договор с собою не предавать себя больше. Она выбирает тишину, в которой наконец слышны её собственные мысли. Она выбирает одиночество, которое становится не проклятием, а драгоценностью. В пятьдесят один год она впервые становится хозяйкой своей жизни. И это не конец — это начало.

Крик в пустой тишине —
Женщина стала собой,
Слёзы стали светом.

Диво дивное: хокку складываю, а слёз — нет. Душа мечется, велит рыдать, да нечем. Откуда же взялся сей вечный уговор с собою? В детстве — не смей быть слабой, не смей нюней слыть. Дома нельзя тревожить родителей: у них давление, дела, а ты со своими слезами — лишняя обуза. Затем полюбила — и он не тот, какие уж тут слёзы. Потом любят тебя, а тебе всё едино — разрыдаться бы, да слёз нет. Стала матерью, замуж вышла — а плакать нельзя: не дай Бог выкидыш. Потом ты мать — какой пример подашь, если заплачешь? И нет слёз. Колодец слёзный иссох до дна. Уговор — он и есть.

Тишина глотает все звуки. Сидит она на краю кровати, и горница — будто аквариум: воздух плотный, тягучий, как вода, кою не вздохнуть. Внутри — пустота, что не болит, а ноет, словно зуб давно вырван, да нерв ещё помнит, где он рос. Хочется разрыдаться — до хрипа, до спазма горлового, до той детской, безутешной дрожи, когда мир рушится и лишь слезами его собрать можно. А слёз — нет.

Уходили они не сразу. Выдавливали их по капле — за каждым «нельзя», за каждым «не смей», за каждым «ты же сильная». Сперва в детстве: матушка глядит укоризненно, батюшка вздыхает — и учишься ком глотать, учишься улыбаться, когда выть хочется. Потом — первая любовь: молвит он «не плачь, сие всё пустое», и ты веруешь, что слёзы — слабость, а слабость — проигрыш. А там уж ты взрослая, и все вокруг твердят: «Ты сладишь, ты всё вынесешь». И несешь ты эту выдержку, как крест, покуда внутри не останется ничего, кроме сухой корки.

Уговор сей — не сделка с миром. То сделка с собою. Отдаёшь слёзы за одобрение, за покой, за то, чтобы не тревожить. И колодец иссякает. Ныне он не колодец — он сухая яма, на дне коей лишь эхо звучит. Крикни — не услышит никто. Даже ты сама.

И вот сидишь ты — женщина, что стала собой чрез отказ от себя. Всё умеешь: удар держать, молчать, опорой быть. А слёз — нет. Ищешь их, как слово забытое ищут: на кончике языка, где-то за грудиною, в горле, что сжато узлом тугим. А там — пусто. И стыдно от пустоты сей: стыдно, что даже заплакать не можешь, что даже в горе ты дисциплинированна, как ратник на дозоре.

Утираешь лицо ладонью — сухо. Глаза сухи. В груди — покой холодный, чистый, как стекло. И только где-то в висках тонко звенит: «А разве так бывает? Разве можно тосковать без слёз?» И тишина отвечает: «Можно. Ты же ныне настоящая. Собранная. Цельная. Только отчего так невыносимо хочется разбиться?»

Слёз нет. Но память о них есть — тяжкая, словно мокрая ткань, кою не высушить вовек. И сей невесомый, сухой крик, коего никто не услышит — даже ты сама. Ибо забыла ты, как он звучит. Забыла, как звучишь ты. Осталась лишь форма — женщина, мать, жена, — а форма без влаги трескается. И никто трещин не зрит, ибо научилась ты быть красною даже в поруху.

И диво: хокку слагаешь о женщине, что стала собою, а сама — не ведаешь, кто ты на самом деле. Только помнишь, что где-то глубоко, под сей коркой сухою, ещё теплится желание — не жить, нет, а плакать. Просто плакать, без повода, без стыда, без уговора. Да колодец мёртв. И сидишь ты в тишине, слушая, как внутри тебя — вечная, выжженная пустота. И сие и есть ты. Настоящая.

Колодец иссох —
в горле ни слезы, ни слов.
Тишина. И ты.

С каких это пор слёзы из горла льются? Быть бы им из очей, да знать — хокку мудрость древняя, и уста когда-то запечатывали. А может, от самого рождения так пошло? Я родилась на свет, а акушерка нерадивая, едва мать не загубила, пуповину коротко обрезала. Отчего ж так вышло? Да всё просто: у неё день рождения был, коллеги собрались, празднуют — а тут ты в мир явилась, да ещё во вторник, а им в будни гулянки хочется. Вот и завернули в пелёнку казённую, серую-пресерую, как быльё под осенним небом. Отчего она такая? У них-то спроси. Такова, знать, жизнь: ты только родилась — а уж пасмурно да хлоркой разит. Молчи, не то захлопнут.

А потом растёшь, и тебе всё одно: молчи да молчи. Не имей своего суждения. А может, мне всего семь годов, а уж я разумнее всех вас, родных за столом, что по паспорту в «возрасте», а шутки у вас плоские, всё ниже пояса, и за вечер ни единой мысли путной. Они глаголят — а ты безмолвствуй. Потом в школе молчишь. Ну не так я задачку вижу, дяденька-математик решал бы иначе, а учитель — по своей методичке, в ней иное действие прописано, чтоб ей пусто было. Дома не смей слова молвить, не смей встречать. Выйдешь на улицу, заговоришь — «ты что, самая умная?» — и все спины повернули. А ты молчишь. Выросла — «ну же, говори!» А там свекровь стоит, с нею молчать надобно. И начальник дурак и тупица — и с ним молчать.

Так и тянется нитка, тонкая, серая, ровно та пелёнка сизмальства. Учишься молчать не устами, а горлом. Слова застревают там, где слёзы быть должны. Комом, жарким да солёным, давятся у ключиц, не сыскав выхода ни в крик, ни в шёпот. В детстве том — недоумение: отчего взрослые, такие великие и важные, лишь свой праздник видят, свой вторник, свой черёд? Отчего твой приход на свет — помеха их веселью? Ты тогда ещё не ведала, что вся жизнь этим вторником обернётся, где ты лишняя. Где голос твой — шум, мысль — дерзость, правда — скандал.

В школе, за партой, сжимаешь ручку до костей белых, ибо в голове твоей уже сотня способов решить уравнение живёт, а учительница одного ждёт — того, что в её тетрадке. И ты молчишь, глотая своё «я». Родственники старшие за столом, с шутками плоскими да дыхом

тяжким, и не примечают, что дитя семи лет понимает больше, чем они всей гурьбой. Но ты молчишь, ибо тот права, кто громче, кто старше, кто при деньгах. Ты, малая, ещё не знаешь, что привычка сия молчать убьёт в тебе нечто главное.

Потом выход на улицу. Откроешь уста, чтобы молвить очевидное — и тут же получаешь удар. Не кулаком, а равнодушием. «Ты что, самая умная?» — вопрос сей звучит приговором. И все отворачиваются. Остаёшься одна, с правдой своей, никому не нужной. И снова учишься: лучше быть удобной, чем правой. Лучше молчать, чем изгоем слыть. Горло сжимается, слова струной оборачиваются, что год от года натужнее.

А как вырастешь, мир вдруг требует: «Ну же, говори!» Да где ж ты была эти двадцать лет? Ты привыкла прятать голос, словно краденое. И вот стоишь пред свекровью, что всё лучше ведаёт, и пред начальником, что глуп, да властью облечён. И снова молчишь. Не оттого, что нечего сказать, а оттого, что нить сию уже не разорвать: выросла она в горло, с дыханием сплелась. Слезы, что должны по ланитам течь, теперь из горла льются — солёные, густые, беззвучные.

То не мудрость хокку. То не улыбка Будды. То клетка, что чужие люди для тебя сколотили, а ты сама дверцу затворила. И ныне, когда просят заговорить, лишь кашлянешь, выплюнешь ком горький и скажешь нечто пустое, безопасное. А слова настоящие, острые, как бритва, так и остаются лежать в глубине, промеж гланд и сердца. И не ведаешь, что хуже: что заставили молчать или что теперь сама боишься тишину сию нарушить. Ибо чуть заговоришь — придётся признать: всю жизнь, с самого рождения, учили тебя, что голос твой права на бытие не имеет. И ты поверила.

Серую нить пряли —
Не из очей слёзы льются,
В горле застрял крик.

Нет охоты огрызаться в ответ на всякое хокку — хочется своей, собственной поэзии, словно воды из глубинного ключа.

Вот уже третий месяц обретаюсь я в сем уединённом имении, и всякое утро начинается едино: сажусь у окна, гляжу на запущенный сад, где ветви яблонь, никем не подрезанные, тянутся к небу, точно длани нищей, просящей милостыню, — и безмолвствую. Молчание стало моим единым соратником. Соседи, что поначалу докучали мне любезными визитами, вскоре оставили сии тщетные поползновения, ибо на их светские ухищрения я отвечала либо рассеянным взором, либо вовсе не отвечала. «Повредила она умом», — шептались за моей спиной старухи в храме. «Гордячка, возомнившая себя музой», — вторили им мужи, куря табак на крыльце уездного собрания. Но не безумна я и не горда. Я просто утомлена. Утомлена тем, что всякое моё слово, всякая мысль, всякий порыв душевный тотчас перетолковываются, втискиваются в рамки приличий, осмеиваются или же — что горше — восхваляются без разумения.

Вспоминается мне бал в губернском граде, где некий юнец, услышав, что я слагаю стихи, возопил с галантной усмешкой: «Ах, сударыня, вы — наш русский Сафо! Дозвольте взглянуть на ваши творения!» Я не позволила. Я взидала на него и зрела, что за очами его — пустота. Ему не надобно было моё «творение», ему потребен был предлог для беседы, дабы потом молвить в кругу друзей: «Я беседовал с нею о поэзии». Ему было всё едино, о чём я пишу: о любви, о смерти, о падающем снеге или о том, как скрипит половица под стопую старой няньки. Мои

стихи были для него лишь личиной, за коей он хотел разглядеть женщину — и только. И с тех пор я умолкла. Не для всех — я не читаю стихов своих вслух, не печатаю их, не кажу их даже тётке, что вздыхает над моей «странностью» и пророчит мне вековое девичество.

Но молчание — не пустота. Оно преисполнено. Оно гудит, словно телеграфная струна в бурю, разнося по всем жилам моим ток невысказанных слов. И тогда я веду беседы сама с собою. Я расхаживаю по горнице — от стола с чернильницей до этажерки с книгами, от этажерки до камина, от камина обратно к столу, — и глаголю. Я говорю с тем, кого нарицаю «друг мой» или «враг мой», смотря по настроению. Сей собеседник — не человек. То мир. Та самая вселенная, что принято звать Божиим творением, но что на деле есть лишь вечное поле брани между тем, что я чувствую, и тем, что мне предписано чувствовать.

«Молви мне, мир, — шепчу я, останавливаясь пред портретом усопшей матери, — почто ты устроена так, что женщина должна избирать между умом и счастьем? Почто, если я сильна, меня нарекают мужеподобной, а если слаба — ничтожной? Если я пишу о буре в душе моей, мне глаголют, что то истерика; если я безмолвствую, меня обвиняют в холодности. Где же тот златой путь, по коему могла бы я идти, не оглядываясь на твои указующие персты?»

И мир — или, вернее, та часть меня, что взяла на себя его роль, — отвечает мне насмешливо: «Ты хочешь златого пути? Но нет его. Есть лишь твой собственный, и он весь в колдобинах и терниях. Ты хотела бы, чтобы тебя приняли такую, какова ты есть? Но кто приемлет бурю в доме своём? Её пережидают, отсиживаются в погребе, а потом выходят и подсчитывают убытки. Ты — буря. И твоя поэзия — ветер, что ломает ставни и срывает кровли. Того ли ты хотела?»

Нет, не того. Я хотела, чтобы меня зрели. Не как курьёз, не как «русскую Сафо», не как «странную барышню», а как человека, что видит мир иначе и тщится поведать о сём. Я хотела, чтобы единая строка, исторгнутая из сердца моего, заставила бы кого-то остановиться среди улицы и помыслить: «Боже, ведь и я то же чувствовала!» Но вместо того я получаю лишь похвалы моему «слогу» или порицания моей «неприличной откровенности». Слог! Словно бы слова можно отделить от того, что они несут в себе. Слово, лишённое духа, есть лишь мёртвая буква, и я бы сожгла все тетради свои, если бы ведала, что их прочтут лишь для того, чтобы оценить, «красиво ли написано».

И я пишу. Пишу, когда никого нет рядом. Запираю дверь на ключ — смешная предосторожность, но она успокаивает — и раскладываю пред собою листы. Я не пишу о том, что принято писать: о соловьях и розах, о том, как мил взгляд возлюбленного или как сладко таять в объятиях. Я пишу о том, что зрю: о трещине на потолке, что ветвится, словно карта неведомой земли; о мухе, бьющейся о стекло; о чае, что остывает в чашке, и на поверхности его собирается морщинистая плёнка. Мир состоит из мелочей, и во всякой мелочи — бездна. Я склоняюсь над сею бездной и смотрю в неё, а она смотрит в меня.

— Ты тоже одна? — вопрошаю я бездну.

— Да, — отвечает она. — Но я старше тебя, и я привыкла. А ты всё ещё уповаешь, что кто-то разделит твоё одиночество. Кто-то, кто прочтёт твои стихи и речёт: «Я понимаю». Но ты сама не хочешь быть разумеемой до конца. Ибо если бы кто-то воистину разумел тебя — узрел бы тебя насквозь, до самого дна — ты бы возненавидела его за сие. Неприкаянность — твой удел. Ты избрала его сама, когда впервые взяла в руки перо.

Я не спорю с бездною. Она права. Я избираю сей путь снова и снова всякую ночь, когда сажусь писать. Пишу не для того, чтобы быть прочитанной, а для того, чтобы быть. И когда над бумагой взлетает перо, я наконец перестаю вести беседы с миром. Я умолкаю. Ибо строки, что ложатся на бумагу, — то и есть моя настоящая речь. Они не требуют ответа, не ждут одобрения, не страшатся осуждения. Они просто суть.

За окном вечерет. Пора возжигать свечи. Я откладываю перо, перечитываю написанное — и зрю, что то не стихи. То куски разбитого зеркала, в коем отражается моя горница, моя душа, моя эпоха. Не ведаю, кто прочтёт сие после меня. Может статься, никто. Но то уже не важно. Ибо в тот миг, когда я пишу, я перестаю быть женщиной, кою судят и оценивают. Я становлюсь гласом. Чистым, сухим, горьким — как полынь, что растёт при дороге, и никто не рвёт её для букета. И сей глас громче, чем все хокку мира, вместе взятые.

Я так люблю прекрасные напевы,
Звук флейты, что взмывает в тишину,
И живопись, где дышат сами девы,
Где мастер вдохновляет глубину.
Люблю узор, лепнину и камеи,
И книги, чей неторопливый слог
Напоминает зов иных аллей,
Что знал Вергилий, что прозрел Бальмонт, —
Те книги из немыслимого века,
Где ум не пресмыкается пред злом.
В них бьётся сердце — сердце человека,
Что не торгует мыслью ремеслом.

А я люблю красивые слова,
Те редкие, как белые цветы,
Но мне несут пунцовые сперва —
Букеты вульгарнейшей густоты.
Мне б лилий гордых, мне бы ландыш скромный,
А всё гвоздики, алые мазки...
И каждый дар — как выкрик вероломный
Средь белоснежной, чистой полосы.

Люблю я музыки душевной переливы,
И классики торжественный язык,
Её напор, размах неторопливый,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.